



Центр "Петербургское Востоковедение"
St.Petersburg Centre for Oriental Studies

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

**ST.PETERSBURG JOURNAL
OF ORIENTAL STUDIES**

**выпуск 8
volume 8**

**Центр
«Петербургское Востоковедение»**

**Санкт-Петербург
1996**



Н. А. Невский

На стеклах вечности...

**НИКОЛАЙ
НЕВСКИЙ**

**Переводы,
исследования,
материалы к биографии**

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

«Мой двойник, только сильнее и вообще лучше»

М. В. Баньковская

В дневниках, которые вел, приступив к преподаванию, молодой приват-доцент Василий Михайлович Алексеев, он дважды называл студента Николая Александровича Невского своим двойником. Никогда больше никого из всех своих учеников он так не называл, хотя многих любил ничуть не меньше.

Использованные в настоящей публикации дневники Алексеева относятся к 1910—1916 гг. Для него эти годы были началом научной и преподавательской деятельности, для Невского — ученичеством и научным разбегом. И учащий и учащийся были молоды: Невскому — 18—22, Алексееву — 29—33, между ними 11 лет. Однако, несмотря на то что в течение этих лет Алексеев не только набирался знаний, но в упорных поисках обрел уже свой путь — новый подход к науке о Китае и, соответственно, к новому преподаванию этой науки, формирование его, как свидетельствуют дневниковые записи, к 1910 г. отнюдь не закончилось и даже обрело особую остроту. Он был далек от того, чтобы чувствовать себя мэтром, он чувствовал себя новичком, и можно сказать, что Алексеев и Невский вместе приступали к общему трудному делу, лишь с разных его концов — это делало их как бы коллегами.

Взаимодействие и взаимовлияние учителя и ученика видно в дневниковых записях, хотя они предельно сжаты — Алексеев в эти годы был особенно скуп на время из-за все более поглощавшей его работы над магистерской диссертацией — переводом-исследованием поэтологической поэмы Сыкун Ту («Ши пинь»). И все же краткие записи-регистрации воспринимаются как несовершенные, но живые моментальные снимки и могут служить иллюстрациями, а в чем-то, может быть, и дополнениями к биографии Н. А. Невского и даже к самой истории университетской китаистики в ее переломный период. (Чтобы эти записи были отличны от других цитат, они набраны курсивом.)

Китаеведная подготовка японисту необходима — так считал Алексеев, возможно, не без влияния Невского. Во всяком случае, опыт Невского это мнение подтвердил и углубил, и думается, что при внимательном взглядывании в японоведные труды Невского можно увидеть нити, тянущиеся к заложенным в университетские годы китаеведным началам. В этой публикации будет прежде всего говориться о полученной у Алексеева подготовке, поэтому речь пойдет и о студенте Невском, и о том, чему и как учил его Алексеев.

Преподавательской деятельности Алексеева была с самого начала присуща какая-то особая, настоящая интеллигентность (что может и удивлять в человеке, вышедшем из лишенной ее среды). Приступая к преподаванию, Алексеев находился под неостывшим обаянием многих своих учителей, прежде

Материалы к биографии

всего профессоров Петербургского университета, тех, кто, по его словам, «работали, чтобы нас создать, с самоотвержением поистине радостным» [4]. Алексеев благодарно помнил это и стремился теперь продолжить в приложении к своим ученикам. Однако помнил он и рутину, которую застал на факультете в конце XIX в.: элементарное зубрение, нудное чтение в примитивном хрестоматийном подборе, общий эклектизм учебных программ, основанных на принципе «всего понемножку». Отталкивание от этого, по его определению, факультетского холодного стереотипа стало постоянным фактором в формировании пропедевтических установок и новых учебных программ. Алексеев стремился сразу же настроить студентов на взрослое, осознанное, интеллигентное осмысление изучаемого культурного мира по принципу тесного взаимоотношения: знание китайской культуры для знания китайского языка и знание языка для познания культуры. Лозунг старой школы *ab ovo* (с самого начала) он решительно заменял лозунгом *ad astra* — к звездам, разумея под звездами достижения всей мировой, а не только русской науки. В этой ориентации сказалось влияние европейских школ (в 1904—1906 гг. Алексеев был командирован «для подготовки к профессорскому званию» сначала в Европу, затем в Китай).

По примеру своих европейских учителей, и прежде всего Эдуарда Шаванна, Алексеев считал, что преподаватель высшей школы не должен разжевывать уже добытое (учебники, готовые переводы, вся литература предмета должны были осваиваться студентами самостоятельно). Воспитать в слушателе самостоятельно мыслящего ученого можно, считал он, лишь делясь с ним своими собственными научными новостями, своими трудами в изучаемой области, своим опытом и своими ошибками. Признания своих ошибок, которые могут научить и предостеречь, Алексеев слышал в лекциях Шаванна в Коллеж де Франс и тогда же оценил их научное и воспитательное значение. Так и теперь, занимаясь в те годы переводом стансов Сыкун Ту и обнаружив какой-либо свой переводческий промах, Алексеев тут же делал по этому поводу замечания в своем «Введении в изучение китайского языка» [1].

Взяв направление *ad astra*, Алексеев менял университетскую программу смело и рискованно. Прежде всего, отнюдь не все в аудитории стремились к звездам — большинство, как и во все времена, лишь к диплому, и потому «излишества» программы не могли не вызвать сопротивление. Риск был и в том, что сам Алексеев, несмотря на свою подготовку, не чувствовал уверенности в необходимых для новой программы знаниях. Дневник передает сомнения и даже порой отчаяние, что теперь, ретроспективно, кажется по меньшей мере странным. Но таков был максимализм Алексеева и в задачах, которые он себе ставил, и в требовательности к их исполнению.

1909, декабрь. *«Подлое настроение, навеянное университетской темой (Танская поэзия, Фонетические опыты), с которой я так банально справился, моим точно таким же, как и до Китая, ужасом перед трудностями языка и прочими вещами — это подлое настроение продолжается. Я неспокоен, раздражен, чувствую в себе злую муть какую-то, чую смех и презрение со стороны других "ученых", боюсь предстоящего курса, общих его положений, сложной подготовки».*

1910, сентябрь. *«Наступающий учебный год застает меня в ужасном настроении. Что если мое мышление недостаточно научно и я собою профанирую науку?.. Однако лекции мои, которые я сам подвергаю такой критике, — все же результат сплошного труда»¹.*

¹ На дневники, письма и другие документы из личного архива Алексева, который хранится у М. В. Баньковской, сноски не даются.

На стеклах вечности... Николай Невский

Хотя внешне все шло как будто гладко, сомнения не оставляли Алексева и грозили принять характер мнительности. Поддержка была ему просто необходима, прежде всего, конечно, поддержка слушателей — не вежливое одобрение, а встречное понимание. Решив раз и навсегда говорить с начи-



Н. А. Невский

нающими полным, без скидок и сюсюканья, языком, Алексева тем самым рассчитывал на столь же полное ответное восприятие. Невский был необходим ему априори.

1910, март. *«Несмотря на первые бравурные успехи моих лекций, я все же недоволен собой... Лекции идут при полном одобрении (заочном и в гла-*

Материалы к биографии

за) студентов. Однако с Танской поэзией дело как будто неладно — один из самых серьезных слушателей, мне кажется, как-то недоверчиво относится к моим высказываниям».



Приват-доцент С.-Петербургского университета В. М. Алексеев. 1911 г.

Похоже, что этот «самый серьезный» — Невский. У Алексеева был острый глаз: «белокурый, стройный, жизнерадостный Невский» отмечен в дневнике сразу и особо, наряду, правда, и со многими другими слушателями. На портрете, подаренном Алексееву заканчивающим университетский курс Невским, стоит подпись: «Один из семи». В дневнике Алексеева мелькают имена Серебрякова, Лукашевича, Рудова, Гензе, Гуменюка, Чижевского, и чуть

ли не каждому сказаны одобрительные и даже хвалебные слова. («*Великолепный народ!*»). Успехи Невского не были исключением, но они были исключительными: «*Невский бодро идет вперед*», «*Невский не знает препон...*» Много лет спустя, в 1934 г., в «Записке о предлагаемом к избранию в действительные члены АН СССР профессоре Н. А. Невском» Алексеев скажет, что ему сразу же «стало очевидным полное соответствие призвания Н. А. Невского с наличием необычайных способностей и такой же рабочей силы» [3, с. 86]. В дневнике тех лет, сжатом донельзя, Алексеев все же не мог сдерживать чувств. В записи от 15 января 1912 г., очевидно, по возвращении Невского после зимних каникул: «*Невский с поезда прямо ко мне. Этот молодец! Он меня восхищает. Бодрый и радостный*». И ровно через год: «*Приходит прямо с поезда Невский. Он мною восхищен. Здоров — и это главное*». А несколько ранее: «*Невский быстро приходит в восхищение...*» Восхищает — восхищен — восхищение — слова, почти вышедшие из нашего употребления... В записях Алексеева ясно видно, сколь целебны были эти эмоции для терзаемого неуверенностью Алексеева. Давно замечено, что дети не менее нужны родителям, чем родители детям. То ж и ученики учителям.

По дневниковым записям Алексеева создается впечатление, что успехи Невского увлекали, заражали, тянули за собой других, прежде всего — сокурсников: курс, на котором шел Невский, всегда отмечен в них как бы звездочкой. Весна 1912, Невский на 2-м курсе: «*С 3-м курсом разговор вечный: не можете — уходите. 2-й курс, надеюсь, получит от меня пользы более всех других — люди там серьезные*». Внося в свое преподавание большой элемент новаторства, Алексеев часто шел ощупью — судьба эксперимента зависела от аудитории, и если бы не «Невский со товарищи», то многие начинания могли бы просто сорваться. Успехи Невского и курса, на котором он шел, были доказательством исполнимости новых программ. «*Приходят Невский и Лукашевич, Вейншток (китаист, друг Алексеева со студенческих лет. — М. Б.). Общий разговор. Вейншток моим программам текстов удивляется, спрашивает, исполнимы ли? Лукашевич, бедный, оказывается, болел переутомлением. Пришлось, значит, поработать!*» Но, может быть, все-таки жестоко давать программы, от которых заболевают переутомлением? А когда из Консерватории отчисляют за недостаток музыкальных способностей, — не жестоко? «Мой курс — университетский», — предупреждал Алексеев с самого начала. «Высшая школа требует наилучших (высших!) элементов для высшего (широкого, глубокого) преподавания, не стесняемого выбором предмета (напр., Лао-цзы, драма Си сянь цзы и т. п.). Это как в Академии художеств или Консерватории: должны бы быть все таланты! Компромисс с действительностью — это не закон» [1]. Не закон, но — действительность, и от этой действительности всегда страдал Алексеев со своими программами и пропал бы, если бы на его курсах не возникали время от времени «яркие вспышки среди безвольного серья, симулянтов приличия». Невский, по счастливой судьбе, был первой такой ослепительно яркой вспышкой на первом же принятом Алексеевым курсе.

Однако, делая ставку на талантливых, Алексеев отнюдь не считал, что науке нужны одни светила, одобрял и поощрял неблещущих, но добросовестных и искренних, ненавидя лишь «симулянтов приличия». Искренность в науке он ценил не меньше чем талант. Невский и тут был безупречен: «*Лукашевич и Невский. Обоим нравится "Трактат о прямом наследовании". Искренен ли Лукашевич? В искренности Невского как в ту, так и в другую сторону сомневаться не приходится*». Искренность Невского вкупе с талантливостью позволяла Алексееву видеть в его реакциях, его репликах тот на-

 Материалы к биографии

дежный корректив, который был так необходим ему при формировании курсов. Зима 1910 г.: *«Скоро ли я увижу себя с точки зрения студентов, а не только своей, как бы она ни была отвлечена от самолюбия и предвзятости»*. Если бы не Невский и другие немногие числом *«идейные головы, студенты, приветливо смотрящие на науку»*, пришлось бы Алексееву увидеть себя, свои программы с точки зрения недостаточных числом примитивов, — и это было бы катастрофой.

По записям Алексеева видно, как чутко он прислушивался к мнениям студентов, особенно Невского:

«III курс. Чжун Юн по новой программе... Без эффекта ясности и убедительности: показатель — Невский».

«Сидят Вейншток, Невский, Гуменюк, Серебряков, Лукашевич — обычная компания. Не согласны с моим переводом Сяо Цзина, и я колеблюсь. Невский говорит, что мое толкование музыки Конфуция не выходит из текстов. Правильно! Серебряков не доволен Куврером. Тучи!»

В написанной самим Алексеевым эпитафии, выгравированной, по завещанию, на могильном памятнике, сказано: *«В трудах учился сам, когда учил других»*. А в дневниках тех первых лет преподавания на разные лады повторяется: *«Учусь на подготовке к лекциям»*. Подготовка — дома, чаще всего в ночные часы, а днем в аудитории или в беседах с постоянно приходившими к нему домой студентами Алексеев жадно ловил их одобрения и неодобрения, принимал к исполнению их заказы. Учил и учился сам.

Звезда Невского не была одинокой, но все же небосвод, хоть и не беззвездный, был темен; во всяком случае, так казалось максималисту Алексееву. *«Университет — храм науки. Не всякий в этом храме ведет себя должным образом и чувствует себя должным образом. Цинично можно отнестись и к храму, и к святыне»* [1], — говорил он в одной из вводных лекций, а в дневнике записывал: *«Народ тупо слушает... Вялые улыбки, холод... Устал от равнодушия... Не идут сами... Зубрилки...»* Алексеев хорошо помнил свои ученические огрехи, но помнил также и то, как работал в не столь давние студенческие годы, как старался, по его выражению, взять от учителя все по ненасытному максимуму, а не куцему минимуму. Потому имел теперь право предъявить к ученикам высокие требования.

Осень 1913 г. Невский на 4-м курсе. *«С лектором (преподавателем разговорного языка. — М. Б.) 3-му курсу справиться будет трудно — там все сидят балды. Аудитория инертно-пассивная, ни одного интересующегося лица. Руки опускаются после таких слушателей. На 2-м курсе публика опять-таки вяловатая, смотрит на лектора как на урок и не возбуждается. Не то вовсе было со мной, я горел желанием знать, все для расширения знания»*.

И рядом — *«Невский горит таким же, как я, вдохновением...»* Как мог тут Алексеев не впасть в «пристрастие», в котором его постоянно упрекали, и тогда и потом, хотя он сам был уверен, что ставит в пример одних другим для того лишь, чтобы доказать исполнимость своих требований: *«Мое отношение к слушателям регулируется их отношением к тексту и к общесоциологической подготовке»*. *«Серебрякову и Невскому (3-й курс) вручил для подготовки листки Шицзина, чтобы парализовать ишаков 4-го курса»*.

Но, конечно, ставка на высших — на изучателей, а не зубрил — не могла не задевать самолюбия многих. Достаточно привести следующие записи, чтобы картина была ясна.

1912, май: *«Семененко, Гуменюк, Невский. На первых экзамен произвел впечатление бани»*.

1913, октябрь: *«Гуменюк читает еле-еле. В чем секрет к быстрому и прочному постижению текста?»*

«Невский — молодчина, одолевает Чжу Си с помощью японских знаков».

Маленькая, но выразительная сценка. 8 сентября 1913 г., воскресенье, в квартире Алексеева студент Гуменюк. Появляется Невский, вернувшийся из первой своей поездки в Японию:

«Приезжает Невский, с корабля ко мне, целуюсь с ним и с восхищением слушаю, как он доволен своим путешествием в Японию. Гуменюк здоровается с ним только холодно, еле-еле. Odium²».

Алексеев старался использовать дух соревнования лишь как стимул к полезному действию и всегда осаживал излишнюю самоуверенность. Однако следующая запись сделана хоть и с улыбкой, но без неодобрения: *«3-й курс. Состязаются самолюбия Серебрякова и Невского»*. Очевидно, полагал, что умным головам такие состязания на пользу. К тому же, судя по дневникам, состязались самолюбия не только студентов — сам Алексеев был тут «не без греха». Дело в том, что его программы с самого начала встречали одобрение не у всех преподавателей. Из записей видна явная оппозиция к ним со стороны П. С. Попова и А. И. Иванова, курсы которых Алексеев, так сказать, получил в наследство, сразу обнаружив, что знания студентов на этих курсах — по его, конечно, меркам — *«только примитивны»*. Разногласия преподавателей обозначались порой довольно резко, и, если бы первый принятый Алексеевым курс, на котором шел Невский, сплеховал, Алексееву пришлось бы худо. Понятна поэтому тщательность, с которой он, хоть и не без самоиронии, заносил в дневник очки в свою пользу.

«С некоторым злорадством слышу отзыв об Иванове: из его лекций ничего не понимали, а мой курс — университетский. Делаю, конечно, все возможное, чтобы понравиться. Такова моя манера».

«Невский сообщает, что готовится только к моим лекциям, считая их интересными. Об Иванове он убийственного мнения».

«Разговор с 3-м курсом (на котором Невский. — М. Б.). Они у меня привыкли широко брать текст, а у Попова узко. Я им много, оказывается, даю и пр. приятные слова».

«На свадьбе Гуменюка "профессора" и студенты обменялись речами, из которых следует: я преподаю живо, не ухватить ничего без памяти, интересно, так что нельзя пропустить лекции».

Едва ли не главным поводом для всякого рода критики и прямого несогласия с программами Алексеева было отношение к разговорному языку. Хотя Алексеев придавал владению языком значение первостепенное и сам неустанно, без малейшего самоснисхождения совершенствовался в нем, в своих программах он главенствующее место отводил изучению культуры, считая, что обучение разговорному языку должно идти параллельно на занятиях с лектором-китайцем. В университете, считал Алексеев, преподавание должно быть гуманитарным (см. об этом: «О гуманитарном преподавании китайского языка» [12, с. 163—174]). Практиков — преподавателей и студентов — такая установка не устраивала, зато Невский полностью понял и принял ее.

«Пискулин с усмешечкой заявляет, что "мы не знаем самых простых вещей, а какой-то гу взнь переводим". Дурак!»

«Гуменюк вступает в спор о необходимости разговорного языка. Невский яро возражает. Ученик своего учителя!»

² Вражда (лат.).

Материалы к биографии

«Романов-старик проповедует чепуху о разговорном языке как основе преподавания. Доказываю. Невский меня поддерживает».

Алексеев знал в себе силу и умение ввести в науку начинающего ученого трудным, но надежным путем, однако был бессилён повернуть на этот путь тех, кто стремился лишь к «практическим» знаниям, притом в их «куцем минимуме». *«Лекция-семинарий возбуждает у студентов недоумение. Им не справиться с комментарием. Я не умею ими руководить...».*

Хочется напомнить известную всем с детства коллизию: утка, высидевшая цыплят, зовет их плыть за ней... Невский плыл, на глазах превращаясь в прекрасного лебедя, цыплята оставались на берегу. Алексеев был идеальным учителем для идеальных учеников — будущих изучателей тайников китайской культуры. Идеальным было не только его желание и умение научить, но и постоянное, не знающее успокоения сознание относительности своих знаний. Осень 1913: *«Назвать ли Невского учеником моим? Чем сам-то я богат?»* Тут и высшее признание успехов ученика-первенца и присущее всякому истинному и искреннему ученому ощущение мизерности своих накоплений перед неохватностью изучаемого предмета. Алексеев не вещал, а становился рядом с учеником — Невский не мог не оценить это.

Четыре университетских года обучения-воспитания Невского Алексеев считал светлыми, ибо был счастлив кормить собой, всем лучшим, что сам имел, своего ненасытного птенца. Чтобы дать теперь хотя бы некоторое представление о том, чем именно кормил, чему учил Алексеев, следует (выборочным, конечно, порядком) назвать несколько из заново введенных или им обновленных курсов. О новой университетской программе Алексеева говорится в его статье «Синология в университетском преподавании» и в статье В. В. Петрова «В. М. Алексеев и Ленинградский университет» [3, с. 160—188; 8, с. 108—119]. Приводимые здесь дневниковые заметки эти статьи кое в чем дополняют.

Принципиально новыми были вводные энциклопедические курсы Алексеева — лекции-введения в изучение китайского языка и литературы, открывающие «перспективы и способы изучения Китая» (так назывался один из курсов). Алексеев хотел представить студентам с первых же их университетских дней общеметодологические проблемы синологии и, таким образом, сразу же вызволить их из гимназического детства, вызвав взрослый сознательный интерес к выбранной ими нелегкой профессии, дать им некое противоядие от устоявшегося в прежних программах зубрежного примитива. В подкрепление этим теоретическим курсам Алексеев вел просеминарии и штудии.

Следуя основному своему принципу: «все приобретаемые в университете умения должны быть освещены научным духом», Алексеев читал первому курсу введение даже к такому, казалось бы, сугубо практическому предмету, как фонетика китайского языка, излагая в нем теорию китайского тона со сравнительным анализом пекинского диалекта с другими диалектами, а также с некоторыми европейскими языками. Сам фонетический курс был в полном смысле слова смелым экспериментом: преподавание шло на точной транскрипции, как любого европейского языка — студенты записывали звуки китайской речи без иероглифов, обретая сразу правильное произношение. *«На 1-м курсе чудесия звуков...»* — новички учились распоряжаться движениями языка и всей полости рта. Помочь этому трудному делу должны были занятия фонетикой у Л. В. Щербы — с самого начала Алексеев приучал студентов к тому, что для них открыты двери всего историко-филологического факультета и добавочные предметы должны играть важнейшую роль в их образовании. Сам Алексеев еще недавно брал уроки и слушал лекции парижских

языковедов и лингвистов, не причастных к синологии — Мейе, Анри, Пасси, Руссло, и на этот свой опыт ссылался теперь в своих лекциях. *«Меня осаждали вопросами из прошлого. Я принес прочесть поразившее меня замечание Мейе о словарях и словах».*

Таким образом, ставка делалась и на интеллигентное осознание предмета, и, конечно, на лингвистические способности тоже. Тянули, естественно, не все, в дневнике то и дело: *«В аудитории, мне кажется, замешательство... Фонетика моя удивляет», «Дал текст (из специально составленной Алексеевым "Фонетической хрестоматии". — М. Б.). Испугались: ой-ой, кричат, много и непонятный шрифт».* Похоже, что если бы не Невский и еще немногие другие, то фонетический эксперимент мог дать негативный результат. На следующий же год Алексеев признал со вздохом: *«Дело фонетическое на этот год из рук вон плохо. Невский остается непревзойденным».* И дальше шли попеременно успех и разочарование: *«Почва, на которой я стою при объяснении звуков, крайне зыбка... Надо бы пояснее и определеннее», «Фонетика идет по рельсам...»,* а через несколько дней: *«Фонетический курс пришел в беспорядок, да и надоел. На будущий год прикончу с ним».* И все же можно считать, что эксперимент удался: 1913, сентябрь: *«От студентов 4-го курса (на котором Невский. — М. Б.) узнал не без удивления, что фонетический мой курс был интересен и полезен, как только теперь выясняется, но что в свое время выглядел сухо».*

В 1934 г. в записке, представлявшей Невского к избранию в Академию, Алексеев назвал его «предприимчивым ученым-лингвистом в области японской фонетики» [3, с. 87]. Кто, как не Алексеев с его фонетическими экспериментами, мог оценить подобную предприимчивость Невского, и можно ли сомневаться в том, что курсы Алексеева участвовали в ее зарождении.

Новый подход Алексеева к преподаванию китайского языка и литературы глубже всего отражен в его особых курсах для чтения специальных текстов: *«Я впервые применил в университете метод чтения китайского текста в виде историко-литературной дисциплины, а не голого чтения»* [3, с. 314]. Он стремился с самого начала приобщить слушателей к переводу филологическому, а не ученическому, с каждым новым текстом все более вводя их в роль переводчика-исследователя. Такой подход требовал от студента большой встречной работы, и Алексеев прежде всего ценил «критическое и вдумчивое отношение к тексту при добросовестной к нему подготовке».

Нелегко, признавал Алексеев, выйти из гимназического детства. *«Труднее всего преодолеть инерцию начинания... По преодолении этой инерции каждый новый текст начинает усваиваться все более и более, и выводы, делаемые для себя, все более и более глубокими и интересными. Нет конца этому прогрессу... Метод моего преподавания заключается в том, что по аналогии с прочитанным и объясненным студент старается сам добиться такого смысла в текстах того же рода. Это очень трудно»* [1]. Осенью 1913 г. Алексеев с торжеством записал: *«Невский расшифровывает "Шицзин" и сам — что и требовалось доказать!»*

Путь к этому «что и требовалось доказать!» был труден прежде всего для самого Алексеева — его не оставляло *«тяжелое сознание, что все эти тексты требуют осознания культуры более полного, чем то замечаю у себя».* Кроме таких глубоко выстраданных признаний Алексеев не упускал заносить в дневник и мелкие промахи, которые, несмотря на их комизм, воспринимались им всерьез.

«3-й курс. Сажусь в калашу, легкомысленно не подготовившись... Невский и Серебряков пересмеиваются, я волнуясь».

 Материалы к биографии

«Сели в калошу на иероглифе "ба" — Невский подловил».

«Серебряков приходит спросить о комментарии — и я на пустом "у шан ши" сажусь в калошу (какой ужас!)».

«Невский садит в калошу выражением "цзо фу гуань и ван ю"...»

Приведенными примерами не исчерпывается количество «калош», рассеянных на страницах дневника, — путь к постижению трудных текстов кроме общей своей крутизны таил и каверзные лужи.

В поздние уже годы, оглядываясь на начало своего преподавания, Алексеев нашел образное сравнение для введенного им чтения древних и классических текстов в натуре: *«Надо было учащемуся рисовать показать Рафаэля, а не свинушку из начальных штрихов».*

Взамен «свинушек» — хрестоматийных выдержек — Алексеев старался представить текст широко, аргументируя его суждениями китайских комментаторов и привлекая другие, соседние с ним тексты. С особой показательностью виден этот новый подход на примере конфуцианских классиков. Изучение их Алексеев начинал, как и В. П. Васильев, с «Лунъюя» («Беседы и суждения» Конфуция). Однако теперь переводы Васильева, как уже известное, переходили в разряд самоучителя для самостоятельного чтения, а в аудитории читались китайские комментарии к тексту и критически разбирались различные его переводы. «Вопреки существовавшей раньше системе вызубривания текста, я ввел в чтение, например Конфуция, подходы к нему с разных сторон, основывая все на сообщении учащемуся способов самостоятельного понимания и критики» [3, с. 314].

«III курс. Лунъюй. Невский не понимает конструкции, Серебряков протестует. Все же убеждаю обоих».

«III курс. Просят читать и комментарий — знак того, что крайне интересуются. Очень рад, но так занят, что придется назначить на воскресенье» (т. е. на дому у Алексеева).

Подходы Алексеева к тексту с разных сторон были сами по себе и значительны, и сложны. Так, он впервые ввел в преподавание труднейшие тексты летописи «Чуньцю» («Весны и осени») и ее сопроводителя «Цзочжуань». *«3-му курсу (на этом курсе Невский. — М. Б.) излагал свое мнение о Цзочжуане как записи учеников по лекциям Конфуция. Мне правильно возражали, что Цзочжуань противоречит Чуньцю. На это прямого ответа у меня нет, и о Цзочжуане я говорил неосторожно. Я хочу возбудить в аудитории интерес, но что я сам-то знаю о предмете!»*

Чтобы облегчить понимание «Чуньцю» и «Цзочжуань», Алексеев привлек блестящие по форме эссе Люй Цзу-цяня.

«Люй Цзю-цянь студентами совершенно не усваивается. Они находят там что-то смешное, что ли, все улыбаются и перемигиваются».

Об этом «эффекте китайского языка» Алексеев предупреждал в своем «Введении»: «Вас охватит сразу же бессилие понять текст, детский паралич и бороться с этим будете до конца. Будете "понимать", не понимая. То, что серьезно, будет смешно, простые вещи будут казаться философией. Надо разрушить свое клише» [1]. Разрушить свое клише способны, как известно, далеко не все, а быстрота этого разрушения — один из показателей таланта. У Невского и его сокурсников эссе Люй Цзу-цяня смеха не вызывали, что Алексеев не преминул особо отметить в дневнике, похвалив весь этот курс: *«очень хорош, внимателен».*

Курсу о Конфуции сопутствовали чтения двух ранних синтезов конфуцианской доктрины «Чжунъюн» («Точка и ее жизнь») и «Дасюэ» («Великое

учение»). Алексеев искал к ним свой собственный подход, не удовлетворяясь даже трактовкой классика синологии Легга:

«Читал Легга о Дасюэ — не мастерски и не авторитетно. Решил, как и прежде, читать по сюжетам».

«На третьем курсе начал тексты Дасюэ. После лекций долгий еще разговор о Конфуции. Комментарий кажется Невскому интереснее текста».

Особо настаивая на внимании к «Чжунъюну», Алексеев составил специальную синтез-систему, позволяющую отделить главные идеи от второстепенных: *«Систематизация Чжунъюна, по мнению 3-го курса, "поражительна"».*

И все же многотрудные подходы к конфуцианскому учению и подходы к этим подходам оказались недостаточными: *«Лекции 3-му курсу о "Постижении вещей", не слишком ясные мне самому, оказались не по вкусу Невскому, который возражал мне довольно основательно. Дал обещание сделать общий синтез учения Конфуция, а нелегко будет, хотя и совершенно необходимо, — то, что я сообщаю о Конфуции, надобно, конечно, реформировать».* Во «Введении» Алексеев говорил о принципиальной необходимости подобных реформ: *«Знание одного и того же текста осложняется новыми и новыми задачами и идеями с каждым дальнейшим шагом вперед. Например, Конфуций для меня в университете и теперь, когда я его идеи видел живыми в целой литературной анфиладе» [1]. Эту анфиладу — конечно, лишь в приближении — он старался теперь представить слушателям.*

«Сортирую набросанные наскоро листочки для курса о Конфуции. Работаю с восхищением, зато засыпаю с трудом».

На другой день: *«Конфуций. При рассортировке листочков обнаружил противоречивость, запутанность и бессилие выбиться в стезю. Сплю кошмарным сном».*

«III курс. Закончил Конфуция, не закончив на самом деле. Серебряков вступает со мной в спор. Невский яростно ему возражает».

Воскресенье, на дому: *«Невский, Серебряков, Лукашевич, Вейнтрауб. Разговор о моих последних лекциях о Конфуции. Воды, говорят, много, много красивых фраз — непонятных. Невскому нравится. Все это они выражают неловко, без определенных критических терминов. Однако несовершенство, бессистемность моих листков я сознаю и сам. Но уповаю на будущее, когда буду с жаром штудировать всякую текстинку к Конфуцию. Невский нехотя уходит, я играю в его жизни роль».*

Нововведением в программе Алексеева был курс о великом историке Сыма Цяне и его «Исторических записках» («Ши цзи»). (Несколько лекций, записанных Невским, сохранились в архиве Алексеева.) В качестве иллюстраций к курсам о Конфуции и о Сыма Цяне Алексеев использовал надписи, которые сам недавно списывал в их храмах, наблюдая, как культ великих людей принял откровенно религиозный характер.

«Сыма Цянь медленно, но при полном сочувствии аудитории идет вперед».

«3-й курс сел в калашу на надписях-эпитафиях в храме Сыма Цяня. В объяснении некоторых вещей я и сам не слишком тверд».

Полностью новым было введение в университетские программы даосских классиков. Алексеев был откровенно горд «реабилитацией книги Лао-цзы "Даодэцин" как классического учения, в чем ему тысячелетиями отказывал конфуцианский Китай, а за ним — и университетские программы... Надо было доказать и показать важнейшую роль этих текстов, доступ к которым не прост...» [3, с. 174]. Весной и летом 1913 г. Алексеев много раз принимался штудировать «Даодэцин» и для своей работы над поэмой Сыкун Ту, и для

Материалы к биографии

нового курса. *«Светлый пункт моей жизни: нагружение себя даосизмом и положительно соблазнительный Даодэцзин».*

«К лекциям. Еле осиливаю 4 главы, сижу в Дао-Дэ, как в блохах».

«III и IV курсам начинаю Даодэцзин с перечня переводчиков. Масса публики, слушают внимательно».

«Закрадывается сложный и мучительный вопрос: имею ли я в виду действительный интерес студентов или же только самолюбуюсь своей же программой?»

Однако годом ранее в записях промелькнуло: *«Невский очаровался моей статьей в Энциклопедию — "Даосизм" — и взял ее на дом. Он решил заниматься даосизмом».* Так что интерес был.

Классическая китайская литература и поэзия преподавались Алексеевым с небывалой ранее широтой — он старался представить аудитории шедевры разных эпох в наибольшем количестве и разнообразии, дабы «показать Рафаэля». Древнюю поэзию начинал «Ши цзин» («Книга песен»), нелегкий текст которого, как уже упоминалось, студент 4-го курса Невский мог, к радости удивлению Алексева, расшифровывать сам. Но главное, особое внимание в программе уделялось танским поэтам, прежде всего Ли Бо, которому был отведен курс «Чтение избранных стихотворений Ли Бо».

«Для изучения китайского языка нужно иметь вкус к предметам литературы. Интересующийся, например, поэзией будет изучать язык более продуктивно: он борется с трудностями во имя будущего торжества знания и мысли» [1]. Невский, как известно, имел вкус к поэзии, и выбранная им тема дипломной работы не была случайной. В дневнике Алексева отмечены даты этой работы на «исключительно для него предложенную тему, требовавшую поэтологического анализа наиболее трудных стихотворений Ли Бо» [3, с. 86]. Первая дата: — 21 октября 1912 г. *«Невский берет с восхищением тему о Ли Бо».* В задачу входило: «Дать двойной перевод (дословный и парафраз) пятнадцати стихотворений Ли Бо, проследить в них картинность в описаниях природы, сравнить по мере надобности с другими поэтами и дать основательный разбор некоторых иностранных переводов» [3, с. 86]. Через два с половиной месяца, 6 февраля 1913 г., Алексей записал: *«С интересом читал первый шаг Невского»*, а 10 февраля: *«Приходит Невский. Вручаю ему его первый опыт о Ли Бо, поощряя к дальнейшим. Этот ребенок пойдет дальше быстро».* Через 21 год в «Записке о предлагаемом к избранию в действительные члены АН СССР профессоре Н. А. Невском» Алексей вспомнил этот первый опыт: *«<...> [Н. А. Невский] справился с темой как с тех пор никто из учащих-китаистов, проявив исключительное умение разбираться в трудных текстах»* [3, с. 86].

Отдельно читались Алексеевым такие шедевры красоты и головоломной трудности, как «Предисловие к "Дворцу тэнского князя" ("Тэн ван гэ сюй")» Ван Бо и «Предисловие к "Собранию сочинений из Орхидеевой беседки" ("Ланьтин цзи сюй")» Ван Сичжи, требовавшие значительного аудиторного времени и, конечно, основательной подготовки. *«Читают Ганзен и Лукашевич: с неба на землю низводят... Стихи Ланьтина Невский (молодчина!) расшифровывает великолепно».* Снова «расшифровывает», а не «переводит»: слова выбраны точно.

В числе образцов «строгой изящной прозы» (*гу вэнь*), вошедших в программу Алексева, был «Трактат о прямом наследовании престола» («Чжэн тун лунь») Су Ши, излагающий теорию «законно-прямого правопреемства».

«Готовлюсь к лекциям о "Наследии престола" и вижу, как это чертовски трудно, да и мысль вывести нелегко. К счастью, примечания в Пекине

были составлены хорошо, вылезти можно. Усталый, еле-еле продолжаю *Трактат*».

«Сижу за Трактатом. Сложная же штука! Вот ввязался-то!»

В годы своей аспирантуры в Китае — «подготовки к профессорскому званию» — Алексеев создал прочную базу, без которой, конечно, не смог бы теперь читать свои новые курсы, поднимая новые пласты текстов. Реакции аудитории были весьма разные.

«Серебряков на лекции заявляет, что "Трактат" дрянь, не говорящая ни уму, ни сердцу. Я сразу не реагирую, но потом разозлен до крайности».

«"Трактат" возбуждает мое красноречие. Невский вслух выражает довольство. Идем быстро».

«Серебряков читает трактат очень быстро, но без интенсивного понимания. Лукашевич плох, хотя и прилежен».

«Переводы Чжэн туна делаются всерьез, Невским и Лукашевичем, по крайней мере. Затея удается».

Тем не менее летом Алексеев все переделал. Июль 1913 г.: *«Редактирую "Трактат" — пришлось все уложить сызнова, энергично и красиво».*

Студентам 1-го курса Алексеев демонстрировал чтение параллельных текстов для сравнения классического литературного языка (*вэнь янь*) с разговорным (*бай хуа*) на текстах новелл Ляо Чжая — в их оригинале и «переводе» на китайский же. И проводил занятия на семинаре. Весна 1912 г.: *«1 курс — только два слова с параллельными упражнениями на доске. Им очень трудно, ни одного, кажется, нет, как Невский!»* На старших курсах читались уже сами повести из «Ляо Чжай чжи и».

«С 11-ти и до 3-х [ночи] — к лекциям и только. К часовой лекции 4 часа подготовки! Ляо Чжай — нелегкая штука».

«Читаю Ляо Чжая к завтрашней лекции, прослеживая внимательно слово за словом по словарю и все время поучаясь».

Выразительна запись зимой 1912 г., в которой ясно видна роль Невского в судьбе первых алексеевских курсов:

«Лекции 3-му курсу. Чувствую, что они не понимают и равнодушны. Вся усталость от лекции только в них. Зато 2-му курсу читал с увлечением начало Лао шань дао ши, причем Невский вскрикнул: здорово! Остальные слушали тоже с интересом».

«Лао шань дао ши» («Даос с гор Лао») — одна из первых двух переведенных Алексеевым новелл, которые по стечению обстоятельств были опубликованы на белорусском языке в журнале «Наша Нива» (1910). Так что каждое слово этого шедевра было Алексееву не просто знакомо, но вынянчано им. Вдохновленный успехом, Алексеев на следующей лекции *«импровизировал 2-му курсу литературное значение Ляо Чжая: это равнодействующая литературной потребности китайской общественной единицы. Мысль выскочила на лекции dicendo³».*

Как уже говорилось, Алексеев в эти годы работал над «Поэмой о поэте» Сыкун Ту и, следуя своему принципу пропедевтики, не только читал в аудитории тексты поэмы, но и демонстрировал на конкретных примерах разрабатываемый им метод перевода, главным принципом которого было: перевод слова должен быть доказан на основе собранных воедино контекстов, позволяющих реконструировать заложенное в него понятие. Незаменимым источником контекстов и тем самым незаменимым помощником в разрешении за-

³ По ходу речи (лат.).

 Материалы к биографии

дач трудного текста служил двухсоттомный словарь цитат «Пэй вэнь юнь фу» («Сокровищница рифм с приложением литературных текстов»).

1913.02. Воскресенье. *«Сидят Невский, Серебряков, Гуменюк. Невский принес пару стихов из Пэй вэнь, на которых я сел (стихи Ли Шан-иня) и не мог выкарабкаться в точно уверенную конструкцию. Меня радует, что он усвоил себе необходимость улавливать точный смысл только из контекстов».*

1913. 12. Воскресенье. *«Невский дает ряд трудных текстов из Пэй вэнь».*

В 1934 г. в своей «Записке» Алексеев особо отметил умение студента Невского пользоваться поэтологическим тезавром-конкордансом «Пэй вэнь юнь фу», которое «кроме данного случая ни разу не было отмечено за 36 лет наблюдения» [3, с. 86].

В дальнейшем, в более поздние годы, Алексеев читал особые курсы научной организации труда — НОТ, посвященные обзору справочной синологической литературы — словарям всех родов, энциклопедиям, библиографиям и т. д., — и учил пользоваться ими. Начатки этих курсов видны с самого начала преподавания — во всяком случае, в своем кабинете Алексеев показывал студентам свое научное хозяйство, свою НОТ, и прежде всего свою систему карточек разного рода и назначения. Невским этот важный момент был оценен и подхвачен: *«Приходит Невский. Читаю ему Введение (к "Поэме о поэте". — М. Б.), нравится. Также нравится карточная система. Он быстро приходит в восхищение: мой двойник, только сильнее и вообще лучше».*

В «Записке» 1934 г. Алексеев говорит о Невском как о «редком для японистов-неяпонцев типе исследователя наиболее трудных и редко стоящих на очереди этнографических и лингвистических проблем, при этом не тех, что выглядят наиболее эффектно в японологической информации для неспециалистов, но именно тех, которые занимают японских исследователей...» [3, с. 86]. Думается, можно в этом обращении Невского к «редко стоящим на очереди» проблемам видеть влияние не только этнографа Л. Я. Штернберга, но и Алексеева, хотя он себя этнографом не считал. Таким именно «редко стоящим на очереди» этнографическим сюжетом была китайская народная картина, которую Алексеев начал исследовать первым из синологов. Пристальное внимание Алексеева к столь обыденным свидетельствам быта, как новогодний лубок или бытовая эпиграфика, не могло быть не замечено Невским. В дневнике есть тому доказательства.

1912, август. Сразу после возвращения Алексеева из поездки в Китай: *«Прямо с корабля на бал. Пришел Невский, отдал ему дубликаты хуаров, отобранные еще в Пекине. Благодарен за подарки».*

«Невскому, Серебрякову и компании демонстрировал свои коллекции. Устал. Невский забрал 100 картин, будет изучать».

Не только на дому, но и в аудитории Алексеев показывал народные картины, *«приглашая знакомиться с жизнью».* *«К лекциям о быте переворосил все свои коллекции — целый вечер и ночь».* По просьбе студентов показывал им этнографический музей, устраивал там выставку: *«Выставка посещалась многими, студентам читал лекции, остальным показывал».* Все это, конечно, не могло пройти бесследно.

Заканчивая подборку заметок, касающихся курсов Алексеева, которые слушал Невский, следует еще раз оговорить их очевидную случайность: Алексеев вел дневник с большими иногда интервалами, не говоря уж о том, что он никак не предназначал его для отчета о своем преподавании. Но, думается, читатель почувствует в них ту глубинную, хотя внешне, может быть, мало заметную связь зрелого ученого с его началом, которая всегда остается в

нем неистребимо. В любом исследовании важен не только его предмет, но прежде всего — дух исследователя, и можно не сомневаться, что оканчивающий университет Невский был искренен, когда писал на обороте своего дивного юного фотопортрета: «Дорогому Василию Михайловичу Алексееву в память многократных совместных бесед, вдохнувших в меня любовь и интерес к странам Дальнего Востока. Ваш одухотворенный облик будет вечно служить моей путеводной звездой. Один из семи. С.-Петербург, 29 января 1914 г.»

«Многократные беседы» — вот что более всего ценил Невский, ибо в этих внеаудиторных общениях и происходило самое глубокое и интенсивное научное воспитание. Из дневниковых регистраций (в том числе и тех немногих, что приведены выше) следует, что занятия и беседы на квартире Алексеева по воскресеньям имели регулярный, а не эпизодический характер. Впрочем, заходили студенты и в будни, и не только Невский: «Серебряков извиняется за частое посещение, но говорит, что он только ко мне и ходит». Алексей продолжал традиции С. Ф. Ольденбурга, Д. И. Пещурова, Эд. Шаванна и с увлечением входил в роль наставника, которой сам дал исчерпывающее определение, сказав об Ольденбурге: «<...> вдохновитель, инициатор, руководитель, учитель, воспитатель, товарищ и друг <...>» [3, с. 16]. Воскресные собрания, прозванные Алексеевым «журфиксами», занимали часов этак пять (Алексеев отмечал в дневнике время). Постоянно приходил Невский и его соратники («обычная компания»), друг Алексеева китаист Вейншток, но бывали и другие коллеги. «1913, 7 апреля. Воскресенье. 10—3. Настоящий журфикс. Струве рассматривает коллекции, Курано шипит и восхищается. Невский, Серебряков, Рудов, Лукашевич». В. В. Струве — египтолог, в будущем академик, Ёсибуми Курано — давний преподаватель китайской и японской каллиграфии, у которого учился в свое время и Алексей.

Отмечая в дневнике очередной «гигантский промежуток», Алексей дал ему такое объяснение: «Я настолько привык к открытому, сосредоточенному и исчерпывающему мышлению на людях, что дневнику роли не остается». Студент Невский очень быстро вошел в число этих людей:

«Невский завтракает. У нас с ним очередные и принципиальные вопросы».

«Невский сидел и мудрствовал».

«Заходил к Невскому в Коллегию. Поговорили по душам».

«С 11-ти до 3-х Невский сидел и разглагольствовал. Нет сил воспринять».

«Разговариваем с Невским по душам. Все чаще вспоминаю слова о нем Дементьева (товарищ Алексева по гимназии. — М. Б.) как о моем двойнике в юности».

«С Невским наговорились-таки!..»

До чего ж обидно, что Алексей был так скуп и не записал хотя бы темы и сюжеты этих разглагольствований! Как бы они были интересны теперь! Но, увы, он не сумел предугадать возможности даже этой вот публикации...

Конечно, было бы противоестественно, если бы разговоры были сплошь принципиальные и задушевные: «С Невским перемывали косточки всем и каждому, наговорились всласть...» Дневник сохранил, хотя, к сожалению, лишь немногие, мелочи, которые всегда добавляют к рассказу живой звук: «1913, 18 февр. У Невского в Коллегии день рождения — Alter ego⁴»; «1913, 14 апреля. Воскресенье (очевидно, пасхальное. — М. Б.). «Невский в праздничном настроении учится завязывать галстук».

⁴ Второе «я» (лат.).

 Материалы к биографии

Отношение Алексеева к Невскому можно назвать идиллическим, хотя бывало и такое: *«Только что собрался переписывать станс (из поэмы Сыкун Ту. — М. Б.), как пришли Невский и Серебряков. Время и ушло»; «Невский помешал закончить станс. День погиб»; «Невский и Рудов отняли лучших два часа. Устал».* Но все это — только вздохи, без всякого раздражения, хотя характер Алексеева был весьма раздражительный, он легко взрывался, и в дневнике много сердитых реплик в разные адреса. Но ни одного в адрес «двойника». Однако есть две записи, сделанные с явной болью и недоумением. Думается, что в рассказе о такой личности, как Невский, делать купюры ни к чему:

«Обедал Невский. Странное у него отношение к моей матери, он словно презирает ее».

«Невский, Ганзе, Вейншток. Сидели и завтракали, причем на мать не обращали никакого внимания, а она смеялась невпопад».

Вряд ли можно допустить какое-либо презрение к не шибко грамотной, но поистине самоотверженной матери Алексеева, отстоявшей сына после смерти мужа от уготованного ему пути ремесленника. Плохо связывается с образом жизнерадостного юноши и высокомерие, часто присущее талантам. Скорее всего, так проявлялась в Невском та сконцентрированность внимания и вообще всей личности, которая, входя в гениальность как необходимый компонент, несет в себе и издержки, оборачиваясь эгоцентризмом. Алексеев нужен был Невскому без всяких к нему «приложений» — они просто не входили в поле его зрения.

По мере приближения к окончанию работы Алексеева над поэмой Сыкун Ту (защита диссертации состоялась в ноябре 1916 г., но книга — «Поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту» — вышла раньше) записи становятся все более краткими (не позволял себе тратить более двух минут на запись). Имя Невского упоминается главным образом в связи с его командировкой в Японию. «1915. 6 мая. *Доставал билет. Провожал Невского».* Дальше идут записи о получении по доверенности и отправке денег, о письмах Невскому и от него и т. п. «1916. 16 янв. *Хлопоты в АН, Университете и в Мин. Ин. Дел о Невском»*, — очевидно, о продлении командировки. «1916. 25 янв. *Пришли посылки Невского с Тао Цянем в разных изданиях»* (Алексеев намеревался приступить к полному переводу этого поэта). Весной и летом 1916 г. в дневнике зарегистрированы письма Невскому с заказами на библиографические издания, отправления денег и счетов. «1916. 20 июля. *Новые издания, присланные Невским, рассматриваю внимательно».* Невский включился в дело, которое Алексеев всегда считал первоочередным, — пополнение востоковедных книжных фондов.

К сожалению, отмеченные в дневнике письма Невского не сохранились — за исключением одного, это письмо — отклик на только что вышедшую и, видно, сразу же посланную в Японию книгу Алексеева. «18 сент. 16 г. Токуо <...> Мы все в восхищении от Вашей книги; она вносит новую струю в синологию, указывает способ, метод, с каким надо приступать к исследованию первоисточников. На днях говорили с Н. И. [Конрадом], что Вам не следует оставлять Шипинь [Сыкун Ту] в изоляции, а продолжать работать в том же направлении и в конце концов дать полную китайскую поэтику, что внесет колоссальный вклад в синологию и даст фундамент для всех будущих исследований китайской поэзии как звена мировой поэзии» [9, л. 1, 2]. Невский снова показал себя «двойником», угадав, что монументальная книга — начало, но никак не завершение того научного направления, которое и стало одним из главных в творчестве Алексеева.

Как уже говорилось, первая поездка Невского в Японию состоялась в 1913 г. — в дневнике Алексеева указаны даты: 5 мая — 8 сентября. Возможно, что тогда и определилась японологическая ориентация Невского. Однако по дневникам Алексеева можно думать, что он, радуясь за Невского, был еще далек от мысли об уходе его из синологической сферы. В дальнейшие годы Алексеев не переставал сожалеть, вернее, горевать об этом, но самостоятельность Невского полностью принял и оценил, хотя и не одобрил избранный им путь.

В Японии, в архиве университета Тэнри хранится потрясающее письмо Алексеева, в котором и сожаление об отходе любимого ученика от стези учителя, и благословение его выбору, и прощание с ним: дата письма — 2 ноября 1917 г. [10]. Извлечения из него не раз уже появлялись в печати, но здесь впервые текст приводится полностью:

*2 ноября 1917 г.
Церковная 33, кв. 13,
Петроград*

Дорогой Николай Александрович! Как я рад был получить Ваше письмо от 8 октября! Вы себе не можете представить! Подумайте, ведь я в Вас вижу все самое лучшее, Вы — лучший из всех моих учеников... В Вас горит и энтузиазм, и свет науки, Вам принадлежит будущее. Со способностями Вы соединили редкую любовь к труду и знанию, окрашенные в идеальный колорит, бескорыстный, молодой и яркий. Когда мне Елисеев говорит о том, сколь высокого мнения о Вас японские ученые, то я верю и не удивляюсь. Еще бы! Разве можно не восхищаться Вами? Однако помните всегда мой завет: ищите тех «ученых друзей», что лучше Вас, а не равны Вам. В этом отношении нужно быть крайним эгоистом. «Побей, но выучи!» (помните?). Это я по поводу Ваших восхищений японцами-этнографами. Я, знаете ли, небольшого мнения о японских, скажем, ком[ментариях] на китайских писателях. Думаю — и вообще у них «толк слаб»... Впрочем, это все в скобках. Итак, продолжайте, и сидите в Японии à tout prix⁵. Не ездите в позорную страну до окончания ее судеб. Я надеюсь, что Вы послали прошение в Факультет своевременно и что Вам командировку продолжат. Но если бы это и не случилось, сидите на месте, хотя бы нищенствуя: здесь будет хуже. Мы все растерялись, и каждый чувствует себя как бы накануне своей гибели. Россия перестала быть государством. Здесь черт знает что происходит. Кроме насилия, ничего. Жду бесславной, глупой смерти от солдата-хулигана и махнул рукою на работу. Да и книг нет. Елисеев ничего из того, что я просил, не мог достать. Нечего читать. Скандал!

Штернбергу пишите. Может быть, он Вам и ответит, но вернее обратное — слишком занят революцией и редакторской деятельностью. Увлекайтесь, милый, «Golden Bough», но ведь этот цзиньгуан не цзин же! [обрыв листа] китом на удочке — недурной сюжет для науки. Его, между прочим, англичанин [обрыв] Steel произвел в St. Patrick'a! Кстати, о своих работах напишите с Борисом Леонидовичем Богаевским, профессором Пермского университета, упомянув меня и прося выслать Вам его работы по земледельческой религии Афин и проч., библиографически, во всяком случае, великолепно оборудованные. Он — милейший человек... Вы оба увлекаетесь одним и тем же, а это редко и приятно.

Статья моя «Бессмертные двойники и даос с золотою жабой в свите духа богатства» лежит в сверстанном виде, но Аллах ведаёт, получу ли я ее до моей смерти. Если таковая случится до Вашего возвращения, то знайте, что все мои рукописи, курсы, книги, коллекции отходят к Музеям Аз[иатскому] и

⁵ Во что бы то ни стало (фр.).

Материалы к биографии

Этногр[афическому]. Как жаль, что Вы не китаист и не можете воспользоваться трудами моей жизни. А все же попробуйте или других научите. Скажите им, другим, что я желаю им, как родным, добра. Да воссияет в них, как в Вас, моя любовь к знанию и к сообщению его другим. Не много я сделал в своей скучной жизни и жаль умирать теперь, когда колоссальные монографии о Тао Цяне и Ли Бо приведены (первая) в состояние готовности к свершению труда. Теперь, только теперь я в состоянии выпрямиться, наконец, во весь рост и дать монументальный опус... Время будет судить, кажется, иное...

Если больше не увидимся, обнимаю Вас крепко, от души, и желаю Вашей жизни большего смысла и большего успеха, чем тот, что выпал на долю мне, но я счастлив был и остаюсь тем, что Вы были моим учеником. В качестве лучшего пожелания скажу: да будет и у Вас такой же! Опыт мне подсказывает, что это больше раз может и не быть.

Ваш всей душой В. Алексеев

Это письмо — рубеж рассказа о первом этапе научного пути Н. А. Невского, тесно, а хочется сказать — кровно связанного с Алексеевым. В нем — патетический аккорд, заключающий отошедшие в прошлое светлые годы и первые глухие аккорды уготованной в будущем трагедии.

Однако время шло, и в политике правительства по отношению к науке начали появляться некоторые позитивные моменты, дававшие ученым, всегда готовым поверить в разумное, надежду на поворот. В 1923 г., находясь в совместной с С. Ф. Ольденбургом командировке в Европе, Алексеев писал жене: «<...> Ко мне обратились с предложением выставить свою кандидатуру на пост профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке. Я поблагодарил за честь и отказался, убежденный теперь более, чем раньше, что за границей мне жить будет очень трудно и что моя деятельность — на родине». И в другом письме: «Мое место в России, и, хотя жизнь в Париже соблазнительна, особенно по сравнению с Петербургом, все же я буду жить только там... Будем верить в новую жизнь».

С этой верой Алексеев начал хлопотать о возвращении Невского, который все больше рвался домой. В журнале «Восток» (его начало выпускать организованное Горьким в 1919 г. издательство «Всемирная литература») Алексеев поместил заметку о русском востоковедении за границей, в которой напомнил российской общественности о существовании Невского: «Русский японист Н. А. Невский, занимающий сейчас место преподавателя русского языка в институте иностранных языков г. Осака, начиная с 1916 года ведет научную работу по собиранию материалов, касающихся этнографии Японии и по изучению их. Им между прочим записаны на севере Японии айньские сказки. В своих письмах Н. А. жалуется на то, что ему не хватает аудитории, перед которою в том или ином виде он мог бы изложить результаты своих семилетних непрерывных работ. Надо заметить, что в то же время Петроград, собирающий в себе лучшие востоковедные силы, доселе совершенно лишен японологов» [6, с. 132].

Последняя фраза содержит прозрачный намек, а написанный в том же, 22-м году «Отзыв о Н. А. Невском» кончается прямым требованием: «<...> считаю своим долгом засвидетельствовать необходимость принять спешные меры к облегчению Н. А. Невскому доступа в Россию и материальному ему вспоможению на проезд <...>» [3, с. 89].

Выдвигаемые в заметке и отзыве аргументы за возвращение и наивны, и непреложны: «Не хватает аудитории...», «... располагает огромным первоклассным научным материалом, подлежащим обработке на русской территории и

в русском университете...». Ученому, как всякому творящему, нужна родная почва — таков, видно, закон природы.

И все же отношение Алексеева к возвращению Невского колебалось, очевидно, вместе с политическими колебаниями. Косвенное свидетельство тому дают письма из Рыбинска от тетки Невского В. Н. Крыловой в марте 1925 г. Эти письма примечательны и сами по себе, так что на них следует остановиться.

В первом письме, от 22 марта, покорнейшая просьба помочь в поисках племянника, который «пропал в Японии»: «Коля круглый сирота, мой воспитанник, и я страстно, безумно хочу его видеть или хотя бы узнать, какая его постигла участь там». Как не вспомнить тут запись из дневника Алексеева о странном по отношению к его матери поведении Невского. Но то была малознакомая и малоинтересная старая женщина, а тут оказалась вне поля зрения родная, воспитавшая его тетка. И все же это так — ведь с другими связь не прерывалась... По этому поводу позволю себе маленькое отступление личного порядка. Невские жили в одной с нами квартире, и я хорошо, хоть и по-детски чисто зрительно помню Николая Александровича. Он видится мне именно таким, отделенным от не интересного ему окружающего, того, что вокруг, просто не замечающим. Вижу его лицо, целиком сориентированное на Василия Михайловича и только на Василия Михайловича, вижу и особое, к нему обращенное лицо отца — где-то там, наверху, в недостижимом мире взрослых. Но бывало и иначе. В письмах Н. М. Алексеевой мужу на Кавказ, где он лечился на грязях осенью 1932 г., Николай Александрович упоминается чуть что не в каждом письме в связи с какой-то новой проявленной им заботливостью. Оказывается, он повел как-то раз нас, детей, в магазин и щедро одарил всех троих. Совместно с Ник. Ал., говорится в письме, Миша (ему 10 лет) воздвиг из конструктора льнотрепальную машину (и трещал ею весь день), а пятилетняя Муха играет с мячом такой величины, что может сама за него спрятаться (к стыду своему, я забыла и этот мяч, и свой восторг, о котором знаю теперь из старого письма). Так что, конечно, Николай Александрович мог быть внимателен даже в таких мелочах, но когда внимание поглощалось наукой без всякого, так сказать, житейского остатка, родной тетке в Рыбинске приходилось ждать письма подолгу...

Второе, уже ответное письмо Варвары Николаевны — от 30 марта, всего через неделю: Алексеев, конечно, написал ей сразу же, такова была его манера вообще, а уж тут тем более, да и почта еще работала не так, как теперь. «Примите мою глубокую благодарность за Ваше чудное письмо... Я чуть с ума не сошла от радости. Я ведь ископаемое, а по определению Коли, лишний человек 19 века, принадлежу к сословию, которое гражданских прав не имеет в новой жизни. <...> Я родилась коммунисткой, преклоняюсь перед идеей коммунизма, но чтоб жизнь скоро вошла в колею, в это не верю. Жестоко страдала, вращаясь исключительно в обществе пролетаров, не слыша живого слова, не слыша музыки, свой рояль продала в голодовку <...>». Даже этот маленький отрывочек письма, написанного крупным наклонным почерком на линованных листках, доносит до нас звук жизни, в которой рос Коля Невский. Затем следуют знаменательные пророческие слова: «Я вполне солидарна с Вами, Василий Михайлович, что вернуться Коле в настоящее время в СССР не имеет смысла, б[ыть] м[ожет], через три года что и наладится. Прожить такое долгое время я не рассчитываю, ведь даже совестно признаться, мне 73 года, но благодаря Вам могу списаться с ним и посоветовать ему остаться навсегда в новом отечестве, т[ак] к[ак] не всегда можно сказать, что дым отечества нам сладок и приятен».

Материалы к биографии

Итак, Алексеев в своем письме Крыловой ратовал за невозвращение Невского. Стрелка на весах клонилась то в ту, то в другую сторону... Переписка с Невским, конечно, продолжалась, хотя в архиве Алексеева сохранилось немного его писем. Кратко, но выразительно письмо из Осака от 31 декабря 1927 г.: «<...> Последний день года. На улицах страшное оживление. Весь город украшен соснами и бамбуками. Завтра будет тишина, переходящая к вечеру почти в полное отсутствие жизни. Вчера Исихама принес только что отпечатанную брошюру Известий нашего общества "Сэйан-гакуся", где вкратце доклад Конрада о востоковедении в СССР и мой о языке Тайванских аборигенов. (В ней, м[ежду] пр[очим], помещено Ваше воззвание к японским ученым)» [9, л. 3, 4].

Жизнь шла, востоковедение в Ленинграде хотя и с многими трудностями, но развивалось, и все острее чувствовалась нелепость отсутствия Невского, однако вопрос о его возвращении пока не решался. В отчете Алексеева по Азиатскому музею за 1928 г. особо значительной деятельностью Дальневосточного отдела названа посылка фотокопий с приведенных в систему тангутских рукописей Н. Невскому, профессору Исихаме и Э. фон Цаху, что должно «сильно способствовать прогрессу этого важнейшего дела синологической современности» [2]. В письме Невского от 26 января 1929 г. благодарный отклик на полученное от Алексеева извещение об этой посылке: «Громадное Вам спасибо за исполнение заказа на тангутские фотокопии и оплату его. С нетерпением жду прихода... Надеюсь, большое количество текстов увеличит мой тангутский словарь. Хотелось бы слышать Ваше конкретное мнение относительно способа составления словаря и расположения в нем идеографов (далее — длинный перечень примеров. — М. Б.). <...> Опишите, как встретили Новый год. Я так много лет уже далек от этого удовольствия, что приятно будет прочесть Ваше описание и перенестись в родную обстановку. Ваш всей душой Н. Невский» [9, л. 6, 9].

В 1929 году Невский вернулся. В архиве Алексеева есть листок, не имеющий даты, но скорей всего, это 29-й год. Обращаясь к директору Азиатского музея, Алексеев просит пригласить Невского «для разбора и выяснения тангутского фонда АМ, хотя бы временно и без оплаты, на какое-либо условие Н. А. соглашается». Вот так: временно и бесплатно, но лишь бы заниматься своим делом... В 1931 г. Невский разбирал и каталогизировал тангутский фонд, написал 1500 карточек тангутско-русского словаря и подготовил к печати ряд тангутских текстов (см. [11, с. 379]).

Среди бумаг Алексеева сохранился конверт, надписанный его рукой: «Сатирикон Щуцкого и Васильева — вечер моих учеников в честь Н. А. Невского 25 сент. 1929». Юмористические куплеты, написанные почерком Ю. К. Щуцкого, содержат персональные посвящения монголисту Н. Поппе, индологу А. Вострикову, китаистам Б. Васильеву и Ю. Щуцкому и двум японистам — Н. Невскому и Н. Конраду: «Два самурая, два Николая и тут и там ученым саном и стройным станом пленяют дам!» Одному из «самураев» оставалось всего лишь несколько лет на идущую полным ходом работу над тангутско-русско-английским словарем. Да и эти оставшиеся годы были завалены работой в ИВ, Эрмитаже, преподаванием японского языка в ЛВИ и ЛИФЛИ, составлением учебника японского языка и пр. и пр. Наблюдая, как вся эта «текучка» съедает творчество Невского, Алексеев в докладе с жутким, но, увы, историческим названием «Стахановское движение и советская китаистика» говорил с отчаянием: «На наших глазах хиреет и погибает колоссальный продукт Н. А. Невский (пишет собственноручно учебник-азы)» [5]. В 1934 г. Алексеев представил Н. А. Невского к избранию в Академию (см. [3,

На стеклах вечности... Николай Невский

с. 85—87]), надеясь, что избрание оградит гениального ученого от «проклятых мелочей»...

Вернувшись в Ленинград, Невский поселился в одной с Алексеевыми квартире в доме 17 по улице Блохина. Затем привез из Японии жену, Исоко Мантани-Невскую, и дочку Елену — Нелли.

Из воспоминаний Н. М. Алексеевой: «3 октября 1937. Около 12-ти ночи позвонили с парадной. В. М. вышел открыть, вышел и Н. А. со своей половины. Это мог быть Конрад (он жил этажом выше), а оказалось — НКВД, к Невскому. Был длительный обыск, все перевернули и его увезли... Никогда не забуду его голос, произнесший последние слова: "Прощайте, дорогой мой!"»



В квартире № 5 этого дома (ул. Блохина, 17/1) жил Н. А. Невский после возвращения из Японии в 1929 г.

7 октября Алексеев позволил себе записать в дневник лишь такое: «<...> после потрясений, идущих крещендо, очевидно до окончательной катастрофы, работа падает из рук».

Начиная с 1925 г., когда по воле заведующего Госиздатом было закрыто организованное в 1919 г. издательство «Всемирная литература» и перестал выходить журнал «Восток», Алексеев упорно, из года в год хлопотал, воевал за возобновление столь необходимого для всякого живого востоковедения периодического издания. В 37-м году им было очередным образом составлено оглавление намеченного на 1938 г. журнала с тем же названием «Восток». В оглавлении два раздела: Китай и Япония. Предисловие к первому — Б. А. Васильева, ко второму — Н. А. Невского. Среди составивших второй раздел работ: «Тикамацу Монзаэмон. Копьеносец Гонза, или две летних одежды одна на другой. Перевел Н. А. Невский». В этом, как бы уже принятом к ис-

полнению выпуске журнала должны были участвовать пять китаистов и четыре япониста. Из девяти ученых в 1938 г. оставались «на воле» лишь трое: трое находились в заключении, трое — Н. А. Невский, Б. А. Васильев, Ю. К. Щуцкий — были уничтожены.

В послевоенные годы, продолжая работу над начатой еще в 1937 г. Обзорной статьей «Советская синология», Алексеев не раз жаловался, что не может — не смеет — назвать многих имен, «одиозных, но для науки исторических». Однако, не имея возможности упоминать исчезнувших, он не мог и не сказать о том многом и значительном, что ими было сделано. И нашел выход: стер все вообще имена, заменив их анонимным «мы». Думается, он все-таки надеялся, что кто-нибудь когда-нибудь решит этот ребус, восстановит имена и справедливость, и, наверное, не очень бы удивился, узнав, что эту работу, вернее, миссию, выполняют два его ученика из последнего уже слоя учеников — В. В. Петров и Л. Н. Меньшиков. Созданный ими комментарий к статье раскрывает все «скобки», называет все фамилии (см. [3, с. 114—158 и примеч.]). В статье Алексеев был вынужден писать о Невском безымянно: «<...> Самыми примечательными и научно значительными трудами в области исследования среднеазиатских вопросов являются труды по истории и языку древних тангутов <...> По текстуальной критике, лингвистической точности и вообще по научной предприимчивости и научному достоинству эти труды могут полностью войти в мировую науку, что и признано в специальной литературе» [3, с. 137]. Заглянем в комментарий: «Подразумеваются труды Н. А. Невского по истории государства Си Ся, его языку, литературе и культуре, собранные посмертно в книге "Тангутская филология. Исследования и словарь". В 1962 г. труды Н. А. Невского были удостоены Ленинской премии» [3, с. 405].

Последние годы жизни Алексеева были связаны с регулярными поездками на дачу в поселок Келломяки, переименованный затем в Комарово. Путь по Финляндской железной дороге лежал мимо станции Левашово, в названии которой зловеще сохранилось, избежав переименования, имя графа Левашова, известного своим участием в смертном приговоре декабристам. Ныне это место получило куда как более зловещую известность: вблизи него находится Левашовская пустошь — обнесенные высоким глухим забором десять гектаров ровов, заполненных останками казненных по приговору «тройки». Расстрелянных в 37-м и 38-м свозили из Ленинграда именно сюда, и, стало быть, где-то здесь, под корнями вставшего стеной могучего леса, лежит прах и Невского, и Мантани-Невской, и Васильева, и Щуцкого...

Отяжелевший к старости Василий Михайлович обыкновенно подремывал в пути. Возвращаясь памятью к тому времени, я вижу его по-стариковски клонящуюся голову и думаю, что ни в каком дурном сне, ни в каком бреде не могла мелькнуть в ней догадка о реальной действительности, проносившейся за дорожным окном. До конца он ждал вестей от исчезнувших коллег, свирепел лицом, когда речь заходила об их отрыве от науки, но никогда не ставил под сомнение упорные слухи о том, что они где-то «в органах» работают «по специальности»...

В заключение хочу привести заимствованную у В. Дудинцева глубоко точную метафору: «Когда-то у нас в стране была подлинная грибница интеллигентных людей. Эта грибница плодила интеллигенцию — настоящих, благородных людей, для которых важнее всего был голос их совести. Эту грибницу уничтожили в несколько туров, а заодно с ней и преемственность культуры» [7]. Можно возразить: преемственность все же сохранилась. И да и нет. Тот из нынешних интеллигентов, кто, положа руку на сердце, не чувст-

вует своей ущербности по сравнению с интеллигентами прошлого, — тем самым в своей интеллигентности неполноценен.

Литература и архивные материалы

1. Алексеев В. М. Введение в изучение китайского языка // СПБО Архива РАН. Ф. 820. Оп. 1. № 24.
2. Алексеев В. М. Мои годовые отчеты за ХХХ лет Советской власти. 1918—1950 // СПБО Архива РАН. Ф. 820. Оп. 2. № 142.
3. Алексеев В. М. Наука о Востоке: Сборник статей и документов. М., 1982.
4. Алексеев В. М. Россия и Китай: (Опыт очередного напоминания). (Начало 1920-х годов) // СПБО Архива РАН. Ф. 820. Оп. 1. № 4.
5. Алексеев В. М. Стахановское движение и советская китаистика. Конспект доклада. 1935 // СПБО Архива РАН. Ф. 820. Оп. 1. № 8.
6. «Восток». Изд-во «Всемирная литература». Кн. 2. Пг., 1923.
7. Дудинцев В. // «Литературная газета». 17. 08. 1988, с. 11.
8. Литература и культура Китая: Сборник статей к 90-летию со дня рождения академика В. М. Алексеева. М., 1972.
9. Невский Н. А. Письма В. М. Алексееву // СПБО Архива РАН. Ф. 820. Оп. 3. № 577.
10. Невский Н. А. Фотокопия письма В. М. Алексееву // Архив востоковедов СПБО РАН. Ф. 69.
11. Отчет о деятельности АН СССР в 1931 г. Л., 1932, IV, 383, [VI].
12. Традиционная культура Китая: Сборник статей к 100-летию со дня рождения академика В. М. Алексеева. М., 1983.

Тангутские тетради

Е. И. Кычанов

Две тетради по тангутике из архива Н. А. Невского¹ должны были бы быть опубликованы в издании «Тангутская филология»². Для них не только не нашлось места, но и в принципе отсутствовало понимание важности этих материалов. При подготовке издания первостепенное значение отводилось «Словарю».

По мнению М. В. Софронова, «судя по материалам, хранящимся в архиве, Н. А. Невский стоял на пути, который вел его к успешному завершению фонетической реконструкции. Если бы не безвременная гибель, Н. А. Невский закончил бы эту работу в начале 40-х гг.»³

В плане работы Н. А. Невского на 1936 г. записано:

¹ Архив востоковедов СПБО Института востоковедения РАН. Ф. 69. Оп. 1. № 10—11.

² Н. А. Невский. Тангутская филология: Исследования и словарь. М., 1960. Кн. 1—2.

³ М. В. Софронов. Грамматика тангутского языка. М., 1968. Кн. 1. С. 25.